

Владимир Даль

Прадедовские ветлы

— Что рыло-то рукавом утираешь, сынок, аль уморился? — спросил старик, сидя на лавке по одну сторону большого угла, между тем, как сынок его, Василий, у которого все лицо горело добродушною радостью, сидел по другую сторону и, отдуваясь, возил рукавом рубахи по всему лицу.

— Уморился, бачка, — отвечал тот, отставив руку и глядя, смеючись, прямо в глаза отцу.

— Эк ты, поросенок! — продолжал этот, приветливо кивая бородой. — Помотался парень туда-сюда, уж и уморился! И знать, что первинка тебе; а вот кабы баушка заставила тебя еще по двору борону таскать, так и узнал бы ты тогда, каково это дело — и расхохотался сам остроте этой. — Нет, Вася, хоть и сбегал ты раз десяток другой, то затем, то за сем, на село, да помотался взад и вперед промеж избы да бани, на посылках, да сбегал еще на погост к попу за молитвой, а уморился ты, чай, не с этого.

— А с чего ж? — спросил сын, — глядя все также на отца.

— А с того, — продолжал тот, облокотясь на стол, — что сердце у тебя беспокойно было, что душа болела. Ведь я знаю тебя, сынок: молоду жену ты любишь, человек ты жалостливый, и к чужим, не токмо что к своим; ну и выболело сердце, и захватило дух; а тебе чаится, что уморился.

Василий, не говоря ни слова, опять накрылся рукавом и сильно раз другой всхлипнул, опять утерся, и опять глядел на старика весело и покойно.

— Пожалуй что и поборонил бы, — сказал он, — кабы ей сердешной от этого легче стало; уж вот как поборонил бы! — и, сжав кулак, положил его на стол, с трудом опять удерживаясь от рыданий.

Он хотел было прибавить: «Жаль больно было Насти», да уж промолчал, чтоб пуще себя не разжалобить.

— Ну, Вася, — сказал старик, — теперь молись: благодаря Бога, все кончено. Вот ты меня и в деды пожаловал; спасибо тебе. Теперь новые заботы тебе: припасай что нужно на размывку рук, на кашки, на крестины.

— Вася! — слышался слабый голос молодой матери. — Дай, голубчик, водицы испить, да студёенькой, слышь, не стоялой.

— Зараз, Настюшка, — отвечал этот и опрометью кинулся вон.

— Экой прыткой он у тебя, сношенька! — молвил старик радушно, поправив лучину на светце и оборотившись лицом к кутнику.

— Твоя кровь, свекорушко, — отвечала та приветливо, — еще, чай, сам ты вперегонки с ним пустишься, коли на то пойдет.

И старик умильно и самодовольно расхохотался: ему как-то люба казалась выдумка снохи, чтоб ему бежать взапуски с сыном.

— А что ж! — сказал он. — Почему не бежать, поколе Господь грехам терпит? Ведь и то, восей за мошенником, за бродягой этим погнались, так ведь я, даром что старик, наперед всех выбежал, да такую угонку ему дал, что он и в час не отпыхался.

В эту минуту вошел Василий с ведром воды в одной руке и с каким-то свертком в другой, прижав его к груди; а сверток этот визжал, ровно как скучает несчастный

закинутый щенок. Это явление до того изумило старика, что он, только вытаращив глаза, мог проговорить: «Господь с тобой, с нами крестная сила», а Настя кинулась к лежащему с нею рядом младенцу, будто спутавшись с памяти своей и не понимая, откуда ребенок их взялся с улицы.

Василий поставил ведро и, поглядев светлым месяцем на старика своего и на испуганную жену, сказал:

– Глядите-тка, вот что нам еще Бог послал! Глядите: живой ведь! Я иду от колодца, и много ли пройти-то, Настя, и всего-то ведь только повернуться, иду с ведром, да ведь чуть было не раздавил его, сердешного, Господь меня спас. Только вот что: туда бег – ничего не было, слышь, а оттуда иду – что мол такое под порогом; глядь, ан вон что!

После первых страхов и удивлений, все трое стали было спрашивать друг друга, что делать с этим и как быть? Но молодая мать, потребовав младенца к себе, тотчас уложила его рядом с своим и объявила, что у нее теперь двойни; что Бог послал этого бесприютного, как Бог же послал им и первого; что надо вспоить и вскормить обоих. Василий на все соглашался, хоть и потужил было, что Насте уж больно тяжело будет; а старик и подавно.

– Вот, сношенька, не было ни гроша, да вдруг алтын! Ну вестимо, куда ж его девать? Божья воля; ведь не слепой щенок это, а душа человеческая: надо порадеть, Христа ради, да помолившись, Ему славу воздать! Все молись, сынок, что ни пошлет Бог; и хорошее пошлет – молись, и худое пошлет – все молись. Мы ведь глупы, Вася, мы и худа от добра не распознаем; а Господь старый Чудотворец: все знает; на Него и полагайся.

– Надо сбегать к сотскому сказать, да выборному, – молвил, спохватившись, Василий, – чтоб не стал браниться становой.

– Ну что ж, сбегай... – отвечал старик, подошел к снохе и прочитал еще наставление о том, как должно бояться Бога и во всякое время молиться.

Сводные двойни крещены были одним именем, Кириаком: по времени рождения, в конце сентября, священник прибрал им имя это; а для различия родного всегда называли Кирюшей, а подкидыша – Кирей.

Крестины отпраздновали очень весело и шумно, потому что люди много глумились над добродушным Василием, у которого, на диво всему народу, оказался свой сын, как у жены его свой, что, видно, у них с женою за спором дело стало.

«Где ты выборонил сынка?» – спрашивал один. «Да, вишь, не хотел уступить жене», – отвечал за Васю другой; а все заканчивали шутки эти завереньем, что за доброе дело их Господь не покинет и что станут они жить благословенно. Баушка-повитуха изготовила мужу Насти такую ложку каши, что у него было очи на лоб вылезли: тут было более соли и перцу, чем каши. Все это немало способствовало общему веселью; а дедушка, опередивший всех, как восей догоняли бродягу-конокрада и давший ему такую знатную угонку, проплясал цыганскую с ложками, объявив, что будет плясать еще на свадьбе обоих внучат своих, а там уж и полно.

Тяжеленько было семье этой выращивать двойней, но Настя кормила обоих одинаково, то грудью, то рожком: а дедушка, у которого был свой маленький достаток, помогал им по временам то нужной скотинкой, то хлебцем, то наймом работника в страду. Кирюша и Киря росли так, что и отец и мать забыли о всякой разнице между ними, называли и считали их обоих родными детьми своими, двойнями, а за Кирей было у них даже более хлопот и забот, чем по родном сыне,

потому что Киря выдался гораздо похилее названного двойничника своего, и за ним было более ухода.

Парнишки стали подрастать родными братьями и вышли преудатными ребятами; но приемыш Киря отставал и в росте и в дородстве от двойничника своего, и дедушка был этим очень недоволен, пеняя почасту на сноху:

– Что люди-де со стороны корить станут, скажут плохо кормишь его.

– Его воля, – отвечала Настя, у которой после первенца не было вовсе более детей, – не пайком отпускаем, не с весу.

И вслед затем принималась уговаривать Кирю, чтоб больше ел. В доброй крестьянской семье и дети удачны бывают, и самое bestолковое воспитание идет впрок. Знаете ли отчего это? Оттого, что господствующим влиянием на детей бывает любовь и благодушие, а преобладающим примером – мир и кротость. Вот в чем заключается вся тайна воспитания. Все, что за сим будет упущено или искажено, большею частью исправляется само собою исподволь, когда бывший ребенок начинает входить в года и, постепенно мужая, наживает свой ум-разум. Поэтому мы и видим постоянно, что хорошие и дурные крестьяне родом ведутся, как хохлатые курицы двором, и, назвав крестьянскую семью, все да можно сказать о ней, какова она, вообще, а редко придется делать резкие изъятия для некоторых ее членов.

Пришла Святая; семья наша воротилась из церкви, помолилась еще раз перед домашним образом, перехристосовалась снова и принялась разговляться. Кажется, день этот, глядя на него со стороны, такой же, как и все дни; нет в нем никаких стихийных примет и отличек, а между тем, кому не кажется он, несмотря ни на какое ненастье, днем светлым, радостным и праздничным, которому в году нет ровни, ни дружки? А в крестьянском быту, в хорошей семье, и по давню: все заботы, все насущные труды и суеты покоятся: нет на душе ничего, кроме ясной и светлой радости; сброшены с плеч тяжелая, а с ним и черствая вещественность, нужда настоящая и забота о будущем. Бог дал дожить до светлого праздника – и на селе встречаешь одни только спокойные, радостные, беззаботные лица. Мужик с окладистою бородою, забыв степенство свое, ладит для молодёжи качели и, сев на них сам первый, для опыта, до того расхотелся, что не хочет слезть и дурит с малыми ребятами и девками, которые стаскивают его за ноги и за полы; седой, как лунь, дедушка с трясукою головою, не только в чистой, но и в новенькой рубахе, с иголки, стружит и правит лубочек, с которого внуки станут катать яйца; а внуки мечутся вокруг него кувырком, другие скачут пробками на одной ноге, с дикими припевами, и только одна скромная девочка стоит перед ним смиренно, уставив глаза на лубочек, засунув большие пальцы обеих рук по самую ладонь в рот, а средние персты в оба уха. Затыкая и оттыкая их в скорой перемешке, она забавляется этим, вслушиваясь в нестройный крик прочих девчонок и ребятишек...

Наш дедушка, однако ж, схвастал, когда обещал плясать на свадьбе внуков: лубочек он бы, может статья, еще и согнул бы кой-как, а уж качелей бы не поставил и в дело никуда более не годился. Двадцать лет на кости, к пятидесяти, много горба прибавят и навывередки уж больше не побежишь ни с кем. После розговенья и завтрака захотелось ему сказать слово семье, и он велел всем опять присесть. Вот слова его:

– Привел мне Господь еще раз с вами, детки, разговеться, да чу, в последний. И пора! Ты не мигай, сношенька, не страшно умирать; это не лапти ковырять: лег под образа, да выпучил глаза – и все тут. Как вел меня Господь путями Своими, так и примет. Его милосердию предаюсь. Плакать ни по што, детки, Бог не без милости, а

пора мне опрастывать место на печи: часом посушиться да погреться надо и другому. Ну, в покойники я не напрашиваюсь. Его святая воля; жить мне с вами и куда как было хорошо! Все вы меня покоили, все вы меня берегли; а все заживаться не след. Вы, Кирюша да Киря, смотри у меня, любить да почитать отца-мать; не то и молитвы не примет от вас Господь и моих грехов не замолите: так мне тяжело будет на том свете, и буду я страдать долго.

Кирюша с Кирей встали и повалились деду в ноги.

— Ну, Господь вас благословит: вставайте, садитесь, да слушайте, к чему я речь веду. Вы, Вася с Настей, живите по-людски да по-Божески, и все молитесь, что бы ни послал Господь, все молитесь: потому, видишь, что мы глупы, и добра от худа и худа от добра не распознаем, а Он все строит по Своему, никого не слушает; вот ты и подавайся по волосам — легче будет голове. Все молись, а не споруйся. В Покров жените парней — пора. Берите снох смирных, чтоб в избу глядели, а не вон. Ты, Вася, оставайся большаком, а их не распускай на отдел; пуще всего не давай снохам ссориться: так ни из чего будет расходиться; мужики-то поладят: семь топоров вместе под лавкой лежат, а две прялки врознь. Это твое дело, Настя, смирных выбери, да держи любовно.

Доживу, сам благословлю; не доживу, так не прогневаются. Речи мои слышали, теперь, вставши, помолимся, да и ляжем отдохнуть, а Светлый день перед нами. С вами Христос!

Если б дед прожил после этого еще долго, то слова его на большую половину были бы забыты; но как он умер спокойно на Фоминой, напомнив еще всем о том, что наказывал, то речи его и врезались в память каждого и поминались то тем, то другим, при всяком случае. Старик оставил сыну рублей с триста, да устроенное общими силами хозяйство.

К Покрову приисканы были невесты и благополучно засватаны, а свадьбам, разумеется, быть в один день. Настя стряпала это дело и выбирала осторожно невест смирных, да условилась с мужем, чтоб обеих невесток, по вводе в дом, заставить вместе помолиться и приложиться к образу, чтоб ссориться и наговаривать друг на друга мужьям не станут, а потом велеть поцеловаться и поклониться отцу-матери; затем и сыновьям помолиться и, побратавшись перед образом, обменяться тельными крестами.

Все это было хорошо, да вышла небольшая помеха. К осени, как выражаются крестьяне, царский колокол прогудел на всю Россию: сказан набор.

Весть эта сперва и не смутила было Василья, потому что он считал себя одиночкой, как отец с одним сыном, не подумав о том, что Киря, как узаконенный приемный, приписан был к семье по народной переписи, а потому и все равно, сын ли он, племянник, брат ли, чуж ли чуженин — он вошел в счет работников, и от тройников одного отдать придется. В общих и ни на чем не основанных словах: «Кажись, семья моя молода, есть постарше», заключается вся надежда нашего крестьянина, и только немногие, большесемейные, стоящие на первой очереди, либо вообще более толковые и заботливые, знают очередь свою наперед и ждут ее; большую часть застигает она врасплох.

Так случилось и тут. Собрали валовую сходку и прочитали учетный список, в коем семьи всей волости писаны сподряд, по старшинству очереди; выслушали человек десяток, кои сомневались, почему они стоят выше такой-то семьи, которая, кажись, старше; растолковали им дело и затем вызвали по сему списку коренных, подставных и запасных, объяснив каждому, в которую голову он идет в ставку,

осмотрели их, подвели под меру, объявили, когда опять собираться для отвоза в город и ставки, и распустили сходку. Семьи, оставшиеся под очередью, быстро, весело и шумно собрались и разъехались и разошлись первые; за ними потянулись и запасные, в надежде, что очередь до них не дойдет, и те из подставных, которые бойко следили за осмотром и отметкою коренных и также рассчитывали, по числу годников, что и их не должна хватить очередь. Остались в отсталых коренные, которым все еще, казалось, будто они не все растолковали начальству, что до положения их семьи относилось, и будто есть семьи и постарее ихней. В этом числе был и Василий с Кирюшей и Кирей. Постояв на сходке, перетолковав между собою все и похлопав несколько раз руками о полы, пошли они в приказ, и Василий решился выступить вперед и подойти к начальнику.

— Как так, ваша милость, семье моей сказана очередь? Я всего вот сам-друг с сыном, а это у меня чужой, только принят в дом, то-есть только и вины моей, что я выкормил его.

Тот отыскал семью в учетном списке и объявил Василию, что семья его тройниковая, а по сложности лет 42, стоит на первой очереди, в коренных, между такими-то двумя семьями, по таким-то причинам учетных правил; что родной и неродной сын считается таким же работником; а как оба они холосты, то старший бы должен идти в первую ставку; но как они и одних лет, то надо им кинуть жребий, и вызвал отца сделать это сейчас.

— Жребий кидать ничего, — отвечал Василий, — Киря не выходит в меру, он коротыш.

Начальник взглянул еще раз в список и сказал:

— Правда твоя, я не досмотрел. Стало-быть, пойдет твой Кирияк. Миновать нельзя.

— А кабы того не было, подкидыша-то, так мне бы не отдавать и сына?

— Конечно, нет; тогда бы вы были двойники на правах одиночек.

— Как же так? — сказал Василий со вздохом, — что приняли мы подкидыша с улицы, так в этом мы и виноваты стали? А подкидыш не дорос, так за эту вину отдать будет родного сына — ведь он у нас один только и есть....

— Жаль тебя, Василий, а делать тут ничего, дело законное. Ты слушай, да пойми меня: семью Малинкова знаешь? Ну, у него один же сын, Сергей — так ли? Да племянник Иван приписан, который шатается где-то и дома не живет, и Малинков такой же тройник и отдает теперь сына последнего. Таких найдется много; где по переписи три работника, там одного отдай. Понял?

Василий вздохнул и молчал. Говорить было нечего.

— Что ж, — продолжал тот, — коли сделал Божеское дело, принял, вспоил и вскормил безродного, так неужто ты теперь об этом пожалеешь?

Василий взглянул на начальника почти теми же радушными глазами, как глядел на отца в тот вечер, когда утирался рукавом, полагая, что умурился, то есть за полчаса до того, как найден и принят был Киря.

— Нет, — молвил он, — сохрани Бог от греха, жалеть не стану. Да и ровны они мне оба; обоих хозяйка выкормила разом, двойни они мои...

— Говори, говори, Василий, — сказал ему начальник, видя, что он замолк, не досказав всего.

Слеза прошибла Василья, но он продолжал:

— Разумеется, что два сына у меня, вот они. Старик отец на Фоминой помер — Царство ему Небесное! Так и умирая, наказывал: «Ты, говорит, все молись,

Василий; и хорошо придет — молись, и худо придет — все молись; потому, говорит, что мы глупы, и худо-то от добра и добра от худя не распознаем». Вот что!

Кому случалось видеть на деле, как рекрутство отправляется у нас в разных полосах государства, тот, конечно, был поражен тем, как разнообразно, по внешности по крайней мере, проявляются впечатления этой повинности и притом, как будто только смотря по исконному местному обычаю. На юге, например, заведено, что по первым слухам о наборе, всех очередных берут под стражу, нередко сажают и в кандалы; и без этого нельзя обойтись: они бы все разбежались. Но будучи раз отданы, они смиряются и покоряются своей судьбе. На севере и на востоке это было бы мерой почти неслыханной: там держат под присмотром только отдаваемых за дурное поведение, не в очередь; а очередных, по осмотре, распускают, с приказанием не отлучаться. Из числа 200-300 рекрут, или очередных, случается иногда, что один или два человека скроются, а большею частью и ни один. Нигде нет стольких побегов от помещиков, как в Малороссии, а между тем помещик там вынужден сажать очередных тотчас в колодку: иначе бы их не доискались. Порча также водится только местами, как бы гнездами. В одной семье введены порубы, хотя это бывает реже; в другой насыпают мышьяку или сулемы в ухо; в третьей очень ловко растравляют язву на ступне или голени, отчего кожа прирастает после к кости и образуется безобразный рубец; самые закоснелые напускают на себя притворную падучую, а простоватые ограничиваются тем, что натирают лицо и другие части бадягой, отчего образуется опухоль и отек; иные искусно вздувают кожу. Эти средства обыкновенно бывают неудачны. Но вообще подобные случаи редки, и бывает их, например, по Нижегородской губернии, один или два в набор, на 36 тысяч душ удельных крестьян; очередным, без всякого опасения, объявляется об очереди их, и они распускаются по домам; нередко даже, в случае крайней надобности, им выдаются еще срочные виды, для отлучки, с обязательством явиться к ставке, и в этом случае всегда почти являются они сами к сроку.

Также точно от местного обычая зависит и то, как весть об очереди принимается в семье и как провожают очередного. Вообще можно сказать, что население чисто земледельческое чуждается и боится солдатчины гораздо более, чем население промысловое: почему между первым и охотники или наемщики довольно редки, тогда, напротив, как их в последнем довольно, лишь бы нашлись хозяева, готовые дать парню погулять самым неистовым, буйным образом два-три месяца; после этого он смиряется и сам просит, чтоб его скорее поставили. У обрусевшей мордвы и других чудских племен, обрусевших местами до того, что и признаков их происхождения почти не осталось, бабы заплачки и причеты сохранили, однако ж, свое значение, и без них не может обойтись ни одно важное событие в крестьянском быту: тут оплакивают солдата гласно, на улице, с диким, однообразным воем, на заведенный тоскливый голос в семь нот, из которых последняя растягивается и переходит в верхнюю октаву; в коренных же русских селениях этого нет, а провожают рекрута и прощаются с ним довольно разумно и спокойно, как бы прощаясь со всяким семьянином на дальнюю и долгую разлуку.

Наш Василий принадлежал к чисто земледельческому разряду крестьян нагорных уездов. Он не мог принять весть об отдаче сына в солдаты с таким спокойствием, как это обыкновенно делается в волостях заволжских, промысловых. Сколько ни утешал он себя и Настю тем, что надо же кому-нибудь служить великому Государю, что Бог его и там не оставит, что отец не велел роптать ни на что, а велел

только молиться — а конец концов все таки был тот, что надо расставаться с одиноком своим навсегда.

Кирюша с Кирей повесили носы и молчали; второй, надумавшись как-то, стал было робким голосом плакаться на судьбу свою, что вот из-за него отдают теперь названного брата в солдаты, что лучше бы ему было утопиться, чем взводить такое горе на отца-мать кормильцев своих; но Настя первая зажала ему рот, сказав: «Молчи, молчи, Господь с тобой, не грехи, Божья воля; нешто ты не дорос по своей воле? Божья воля, дитяtko, молчи!» А Кирюша, сидя кулем на лавке и свесив головушку, прибавил: «Про это что толковать, Киря? Уж тебе ли, мне ли, а комунибудь идти надо».

Вошел в избу сосед, также хороший мужик, посмотреть что делается у Василья, да потужить с ним.

— Что, Василий, — спросил он, помолвившись, — как думаешь?

— Да что думать тут? — отвечал тот. — Видно, снаряжать Кирюшу да благословлять.

— А что б тебе, Василий, понаведаться в Борисово; там, намолчка была как-то, Иван Верзилин — чай, Верзилиных знаешь — был слух, что продает он квитанцию.

Василий взглянул было радостно во все глаза на соседа, который навел его на новую думку, не бывавшую у него до сего и в голове; но потом, вздохнув, сказал:

— Что ж! Квитанция, чай не по мне придется.

— Однако, — продолжал тот, — понаведался бы, Бог милостив; я человек не замочный, сам знаешь, а коли ребята твои на год пойдут в кабалу ко мне, по пятидесяти дам — вот и сотня.

Настя кинулась просить мужа послушаться этого совета; парни молчали. Не чая успеха, Василий, однако ж, сказал большое спасибо соседу, а сам, не откладывая дела, встал, взял шапку, перекрестился и пошел. Часа через три он уже и воротился, но добрых вестей не принес. Верзилин поставил, года три назад, охотника, и квитанция береглась у него до очереди; между тем у него выбыл один работник, умер племянник, а сам он вышел из лет, то есть исполнилось шестьдесят; таким образом квитанция стала лишнею, и он продавал ее, но не отдавал ниже 600 серебром, за наличные. У Василья отцовских денег было сотни три, да одна своя, прикопленная, да сто давал сосед, за годичную кабалу, а одной не хватало и добыть ее негде. Как ни раскидывали на умах, а нет ее! Продать, кроме одной лишней лошадки, коли сыновья дома пахать не станут, нечего; займы никто не даст, опасаясь в таком случае, что мужичок, отдав последнее и распродав все, падает в быту своем и делается несостоятельным. Потолковали еще и на другой, и на третий день, и решили, что знать так Богу угодно, а Кирюше судьбы своей не миновать.

На улице слышались голоса толпы, и Василий, оглянувшись позади себя в окно, увидел целую ватагу костромских шерстобитов, с Ветлуги, которые остановились с оружием своим, полутора-саженными лучками, прямо против двора его, поглядывали и что-то толковали. Вслушавшись, Василий, однако, не мог понять в чем дело: «Чаво, — говорил один, — нет не пятьдесят, а выйдет и цела сотня; ты гляди, четвертей по 20 будет, вот что». — «А дуплясты?», — заметил другой. — «Ну, дуплясты, — сказал третий, — так сотни не выйдет, а все без малого.» Что они далее говорили, того Василий и вовсе не мог понять, потому что беседа их продолжалась уже не на русском, а на вовсе незнакомом Василию языке. Потолковав, шерстобиты спустили лучки свои одним концом с плеч на землю, как бы для отдыха, а один из них пошел в избу Василия.

Надобно знать, что этот народ, костромские шерстобиты, ходят с лучками своими по всей России, не исключая и Сибири, на заработки, и нередко занимаются, где случится, и другим промыслом: они же тележники, санники, колесники и дужники. У них свой, придуманный ими язык, как у владимирских, тверских и костромских офеней или коробейников, но только другой, то есть слова у них большею частью другие. Так, например, скоро – у офеней *рыкло*, у шерстобитов *шатрово* или *башково*; веник, у офеней *пленальник*, у шерстобитов *било*; сноп, у офеней *зяблик*, у шерстобитов *ломеж* и прочее. Вот почему Василий не мог понять ни слова, как только шерстобиты заговорили по своему.

Итак, один из них вошел, помолился и проговорил бывалым землепроходцем:

– Бог на помочь в окно глядеть! Без пирогов не садиться, безо щей не ложиться, без красных невест женихов не держать! Дома ль хозяин?

– Благодарим покорно. Я хозяин, – обозвался Василий, – с чем Бог принес?

– Ну, – продолжал краснобай, – хозяину гумно гора горой, хозяйшке свету полны воробья, полны коробья, добрым мододцам по бархатну чапану, а тебе, честной хозяин, подносим бархатну шапку – в простой ходить тебе не годится. Берешь, что ль?

Хоть и не до веселья было теперь бедному Василию, однако ветлужанин рассмешил его.

– Бай, что ли, – сказал он, – а я не дам толку твоим речам.

– А вот что, – продолжал тот, – три ветлы стоят на дворе у тебя; они чай не заветные; постоят еще год-другой – знать уж и так больно переспели – да и надъест их дупло, а ветром повалит, храни Бог убьет кого. Мы дужники, поработаем тут около них, и деньги дали б хорошие. Можно ль посмотреть да обухом ударить: есть дупло, так скажется.

Василий встал и вышел с ним на двор; вся артель, приставив лучки свои к избе, окружала три огромные ветлы, посаженные когда-то, никак лет тому восемьдесят, прадедом Василия. Тогда воткнуто было с десяток хворостин, три из них уцелели и стояли теперь, красуясь в дымчатой листве своей и покрывая увеем полдвора и пол-улицы.

Пни их были четвертей по двадцати в обхвате. Постучав обухом тут и там, уверившись, что дупла нет, и покричав на своем, никому неизвестном языке между собою, они подошли к хозяину, и артельщик спросил Василья, что возьмет он за три ветлы эти на сруб, и с тем, чтоб выработать дуги у него на дворе, а за хлебное-де плата особо.

Пожалел было Василий прадедовских ветл своих и сказал:

– Нет, не хочу, не дам рубить.

Вся артель напала на него и божилась, что вот только стоять им до первой бури, а там и свалит их, и еще, сохрани Бог, кого придавит.

– Ну, – сказал артельщик, протянув руку, – пятьдесят целковеньких взял, что ли?

Василий выпучил глаза: не слышал он, чтоб такие деньги давали за три ветлы. Однако он крепился.

– Нет, не беру.

С шумом, криком и божбой заставили его против желания подставить руку артельщику, между тем, как тот все набавлял, и бил с размаху по руке его, и дошел наконец до семидесяти пяти целковых. Какой-то говор пробежал по артели, и большак, отдернув руку свою, молвил:

– Ну, Бог с тобой! Ой да, пойдём, братцы.

Василий остановил их и послал Кирю за соседом, который брал ребят в кабалу.

– По рукам, – сказал сосед, – и не думай больше. Давай гнедого своего на придачу к парням – ведь опять на две сохи пахать станешь – купишь, а теперь он у тебя будет в лишних. Бог с тобой, Василий, человек ты и сосед добрый: доплачу остатки, двадцать пять целковых за тебя, и шестая сотня полна. Бери денежки, да беги к Ивану, в Борисово, чтобы кто не перебил. Даст Бог здоровья, наживете больше. Вот, парней-то женишь ныне, ан две работницы в доме; а девки-те хорошие, работающие.

Василий перекрестился, получил деньги с шерстобитов, получил и с соседа. Кирюша с Кирей отвесили ему по низкому поклону, глядели ему в глаза, чтоб, в чем нужно, прислужиться, а сами не могли отбиться от докучливой слезы. Настя обняла и его, и детей; достал он свою денежку про черный день, счел все – шесть сот гладко, опять перекрестился, пошел и воротился еще засветло с квитанциею. Ветлужцы храпели вповалку под своими ветлами.

– Вот оно и выходит так, – сказал Василий за ужином, среди радостной семьи своей, – что надо всему молиться. Что ни придет, все молись. Господь, старый Чудотворец, знает что строить.